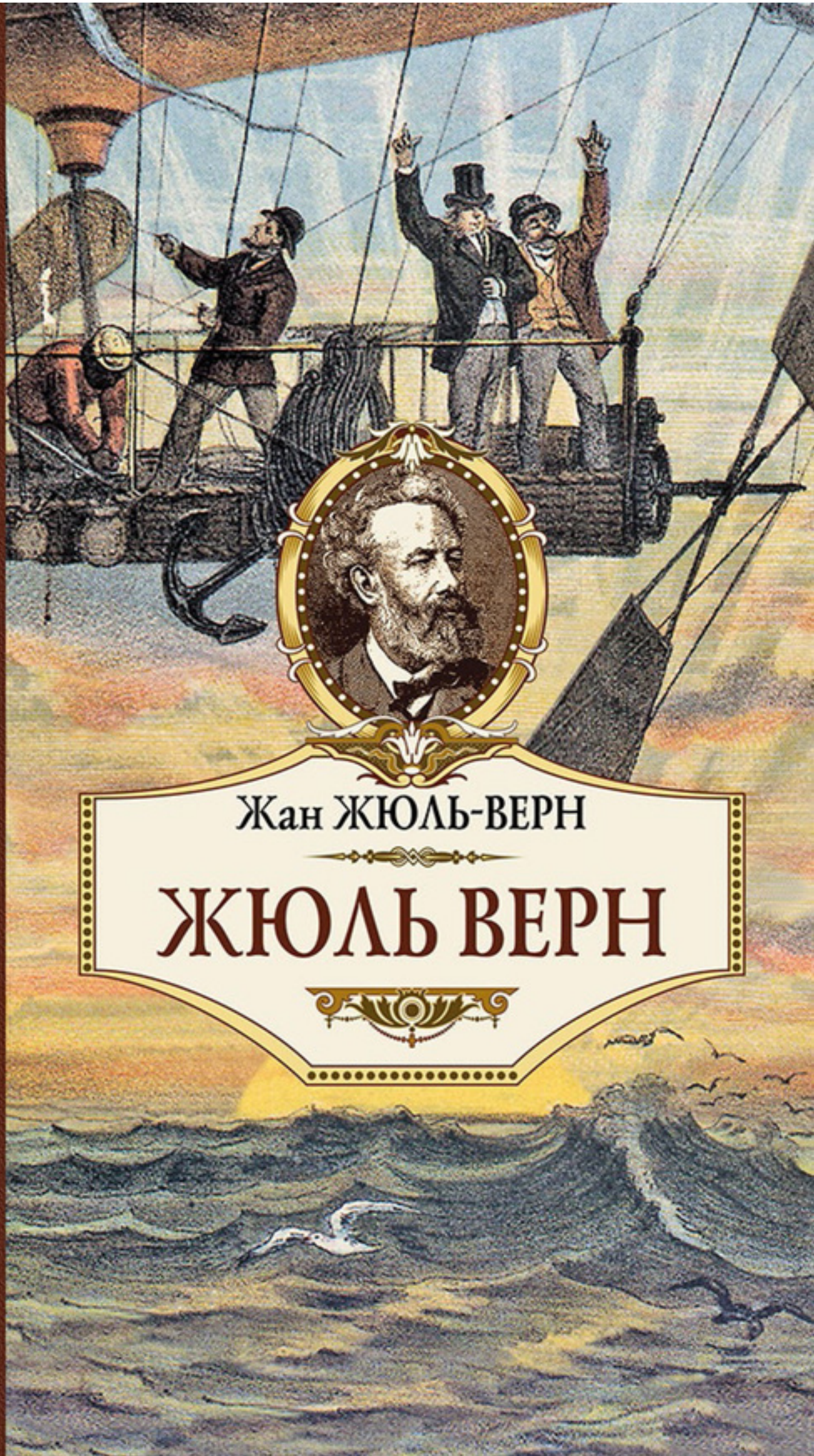




Жан ЖЮЛЬ-ВЕРН

ЖЮЛЬ ВЕРН





Жюль Верн  
**Жюль Верн**

«Спорт»

1973

ББК 36.99

**Верн Ж. Г.**

Жюль Верн / Ж. Г. Верн — «Спорт», 1973

ISBN 978-5-903508-20-4

Уже при жизни Жюль Верна о нем и его книгах ходили легенды: одни читатели видели в нем прославленного путешественника, другие утверждали, что он никогда не покидал своего кабинета, третьи считали, что такого человека в реальности не существует и под этим псевдонимом скрывается целое Географическое общество. Книга Жана Жюль-Верна, внука знаменитого писателя, до сих пор является наиболее полной, обстоятельной и тщательно документированной монографией о личной и творческой жизни первого классика научной фантастики.

ББК 36.99

ISBN 978-5-903508-20-4

© Верн Ж. Г., 1973

© Спорт, 1973

## Содержание

От издательства	6
Вместо предисловия	7
Первая часть	9
1. Последние видения	9
2. Происхождение	12
3. Пьер Верн	16
4. Шантене	18
5. Каролина	24
6. Студент	28
7. Драматург	31
Конец ознакомительного фрагмента.	33
Комментарии	

# Жан Жюль-Верн

## Жюль Верн



## От издательства

Жюль Верн относится к тем немногочисленным писателям, которым принадлежит заслуга создания оригинального литературного жанра. Он был родоначальником романа путешествий и приключений, зачинателем научной фантастики и основоположником научно-популярной литературы. Он мечтал о создании романа нового типа, в котором соединились бы наука и искусство, техника и литература, реальность и фантастика. Ему это удалось – благодаря таланту, редкостной трудоспособности («Работа – это моя жизненная функция. Когда я не работаю, то не ощущаю в себе никакой жизни...») и огромной эрудиции (картотека писателя, в которой были отражены все достижения науки и техники того времени, содержала свыше 25 тысяч карточек).

Жюль Верн почти не допускал фактических ошибок, из 108 его научных и географических предвидений осуществлены 64 – результат, редкий и для солидного научно-исследовательского центра. И хотя еще при жизни писателя, в век бурного развития науки и техники, многие его фантастические проекты начали уходить в прошлое и действительность стала обгонять самые смелые его мечты, интерес к его творчеству не ослабевал.

Уже во времена Жюль Верна о нем и его книгах ходило немало легенд. Одни видели в нем неутомимого путешественника, настоящего «морского волка»; другие, напротив, утверждали, что он никогда не покидал своего кабинета; третьи вообще подвергали сомнению факт существования такого человека, считая, что под псевдонимом «Жюль Верн» скрывается целый штат ученых и членов Географического общества.

Жизнь Жюль Верна – правоведа по образованию и литератора по призванию, путешественника-романтика, влюбленного в море, и серьезного исследователя – подробно представлена в книге его внука, впервые вышедшей во Франции в 1973 году, но до сих пор считающейся наиболее полной биографией знаменитого писателя.

\* \* \*

Жан Жюль-Верн в детстве нередко жил в доме своего деда в Амьене. «Совершенно очевидно, – пишет он в предисловии, – что старый господин, находивший себе постоянное убежище в кресле перед камином, был для меня всего-навсего дедушкой, а не писателем. В сознании моем еще не возникало связи между дедушкой и автором книг, которые я начинал читать...» и в которых тогда не усматривал ничего, кроме увлекательных походов. Только в зрелом возрасте он взглянул на них другими глазами и «нашел там богатства, о каких и не подозревал».

По семейной традиции Жан Жюль-Верн получил юридическое образование, долго работал судебным чиновником, закончив служебную карьеру председателем Трибунала высшей инстанции в Тулоне. В память о прославленном деде он взял составную фамилию и более сорока лет работал над монографией о его жизни, по крупицам собирая мемуарные свидетельства и архивные документы, не спеша обрабатывая огромный фактический материал. Многолетние усилия оправдали себя – получился монументальный труд, тщательно документированный и насыщенный ценнейшими сведениями о жизни и творчестве первого классика научной фантастики.

## Вместо предисловия

Взявшись за перо, чтобы писать эту биографию, я испытываю чувство некоторого покоя и, пожалуй, даже вины. Имеем ли мы право, отряхнув пыль времен, приподнимать некий саван с целью вновь узреть физический и нравственный облик человека, который наконец обрел покой, завершив свой нелегкий жизненный путь?

В этом мире мы оставляем следы столь незаметные, что по меньшей мере легкомысленно пытаться их обнаружить и решиться предпринять труд, в какой-то мере аналогичный работе знаменитого Конан-Дойлева сыщика, который с величайшей ловкостью формирует длинную цепочку дедукций, в то время как его автору заранее известно, каков будет вывод. Перед биографом всегда стоит соблазн подражания английскому писателю, у которого логическое сцепление фактов, построенное на потребу читателя его героем, для него, писателя, есть лишь доказательство заранее данного решения.

Чтобы написать что-либо логически стройное, необходимо с самого начала иметь ясное представление о конце. Для романа или стихотворения это, безусловно, правильный метод. В поэме, как и в романе, в сонете, как и в новелле, все должно служить развязке – такова одна из любимейших аксиом Эдгара По. «Хороший писатель, приступая к своей первой строке, уже представляет себе последнюю».

Биограф, напротив, не должен следовать этому совету и иметь заранее сложившееся представление о человеке, которого он пытается воскресить. Иначе он станет подгонять не только свои изыскания, но и толкование фактов таким образом, чтобы они это представление оправдали.

Нелегко писать историю, из которой нам известны лишь крупные события, но еще труднее – историю человека, из жизни которого на поверхность потока времени всплыли события лишь самые незначительные.

А что скажешь, если тот, кто намерен искать ответа у могилы, принадлежит к семье покойного?

Родство не придаст уверенности его перу. Ведь честность побуждает его к объективности, которая иногда может покорибить в нем самые тонкие чувства, а то и заставит выступить в качестве слишком смелого судьи своих близких.

Следует, однако, признать, что Жюль Верн – один из тех, кто оказал влияние и на свою эпоху, и на нашу. Исходя из этого можно сказать, что наше любопытство в отношении его вполне законно и утрачивает тот оттенок профанации, который и лежит в основе моего смущения. Этот покойник еще живет.

Тех, кто занимается исследованием его жизни и творчества, сейчас уже весьма и весьма немало. Может быть, будет бесполезно, если к ним присоединюсь и я: ведь я один из последних, кто знал его при жизни, и могу выступить очевидцем, как бы незначительно ни было мое свидетельство.

Поскольку всякая биография состоит из интерпретации каких-то документов и каких-то фактов, близкий родственник может лучше кого бы то ни было знать им цену. В подобном деле личность писателя подвергается обследованию, схожему с обследованием при анатомическом вскрытии. Человек, который мог знать поведение и характер писателя при жизни, в кругу его семьи, может оказаться и компетентным судьей, когда приходится оценивать результаты такого смелого вскрытия.

Только что мною написанное, несомненно, жестоко и неприятно, зато довольно ясно обрисовывает мое душевное состояние. Кроме того, это грубое сравнение придает мне смелость, необходимую, чтобы идти вперед, и заставляет меня почувствовать, что предпринятое дело есть лишь выполнение некоего долга.

Но это еще не все. Подобная тема неизбежно приводит к исследованию окружения, еще более опасному и мучительному Мне, таким образом, придется затронуть дорогих мне людей и, игнорируя элементарные правила морали, углубиться в запретную область семейных дел и обстоятельств. Думается, мои колебания вполне понятны. Стоило мне промолчать – и я не испытывал бы никаких внутренних противоречий. Но, по правде говоря, это было бы бесполезно, ибо архивы скромностью не отличаются, и оставшиеся в них следы всегда могут быть открыты любопытным исследователям.

В конце концов, речь идет о событиях не слишком значительных, которые постоянно происходят в любых семьях. Моя долгая профессиональная жизнь показала мне, насколько они обычны, и если я задену чувства слишком строгого цензора, да простит мне он, что я буду беспристрастно и честно разбираться в приоткрытой уже папке с делом.

Мое личное свидетельство? Должен признать, что оно, пожалуй, не очень многого стоит. Ведь когда мой дед скончался, мне было всего двенадцать лет.

Совершенно очевидно, что старый господин, находивший себе постоянное убежище в кресле перед камином столовой, был для меня всего-навсего дедушкой, а не писателем. В сознании моем еще не возникало связи между дедушкой и автором книг, которые я начинал читать. Связь эта возникла только в день его кончины, под влиянием тяжелого морального потрясения, которое я тогда испытал.

Прежде всего, я должен сделать одно признание. Я, как и все, разумеется, читал «Необыкновенные путешествия», может быть даже слишком рано, в возрасте, когда я не усматривал в них ничего, кроме увлекательных походов.

Величественные образы Гаттераса, Немо вырисовывались передо мной на фоне грандиозной панорамы. Меня немного удивляло, что в моих школьных учебниках о них не упоминается, но ведь нас воспитывали сообразно довольно ограниченному представлению учителей того времени, которые притворно пренебрегали Гюго ради Ламартина и, не смущаясь, меняли свое мнение в следующем десятилетии. Латинисты усердствовали, чтобы заставить нас постичь все тонкости какого-нибудь текста из Вергилия, Сенеки, Цицерона или Лукреция, но не пускались дальше нескольких строк перевода.

В отношении классиков, кроме Буало, Расина, Корнеля и Мольера, метод был столь же узким. Шекспир, Сервантес и Гёте оставались в тени. Переводы из них и «изучение текстов» (!) являлись областью, уготованной преподавателям языков.

Куда же, как не к области развлекательного чтения, мог ли мы в нашем сознании относить автора приключенческих романов? Он нас увлекал, иного мы и не требовали. Если некоторые оказывались более проницательными, то это не выходило за рамки общепринятого мнения.

Позже я перечитал «Необыкновенные путешествия». Повествование по-прежнему пленяло меня, но, не поддаваясь увлечению сюжетом, из-за которого от меня ускользали подробности, я нашел там богатства, о каких и не подозревал.

Большой заслугой нашей эпохи является то, что мы заглянули в прошлое и имели смелость открыть там забытых мастеров, как в музыке, так и в литературе.

Конечно, читатели никогда не теряли Жюль Верна из виду. Его произведениям довелось пережить его самого. Но нет сомнения, что мы присутствуем при подлинном возрождении его и усматриваем в нем нечто гораздо большее, чем просто автора приключенческих книг для юношества.

Многие открывают его для себя, и, должен сознаться, я тоже открываю его заново.

Преодолею же вместе течение времени и вернемся назад на поиски старого сказочника.



## Первая часть

### 1. Последние видения

*Дом на бульваре Лонгвиль, в Амьене; рабочий кабинет и повседневная жизнь старого писателя.*

*У изголовья умирающего.*

Начнем с конца, как советует Эдгар По, не для того, чтобы прийти к предвзятому выводу, а чтобы обрести прочную основу, которая поможет нам постичь человека.

Концом было бы описание его похорон. Но они касаются только покойника и, следовательно, интересовать нас не могут. Я ограничусь лишь упоминанием, что германское правительство сочло нужным послать своего представителя, чтобы выразить соболезнования родственникам покойного. Нашу семью тронула дань уважения со стороны Германии писателю, который далеко не всегда уважительно отзывался о ней.

Истинным концом Жюль Верна, как и всякого другого человека, могло быть только мгновение, когда, еще пребывая в этом мире, человек уже готов покинуть его. Мой старший брат и я, едва успев обосноваться на побережье Средиземного моря, вызванные телеграммой, присоединились к родителям и брату, находившимся в Амьене у изголовья умирающего.

Увидев всех своих близких подле себя, он как бы объял нас единым взглядом, ясно означавшим: «Вот вы все здесь, отлично, теперь я могу умереть». Затем он повернулся лицом к стене, стоически ожидая смерти. Его спокойствие и мужество произвели на нас сильнейшее впечатление, и мы пожелали себе, когда придет наш час, такого же прекрасного и мирного конца.

Вскоре наступила агония, и он испустил последний вздох 24 марта 1905 года в восемь часов утра. Сразил его приступ диабета.

Моя сестра Мари в одном из писем сообщает, что он якобы сказал пришедшему навещать его священнику: «Хорошо, что вы пришли: вы меня словно возродили», но она добавляет – и это куда более примечательно, – что он просил близких избежать несогласий, которые могли между ними возникнуть. Последний образ живого Жюль Верна возникает в моих воспоминаниях о встречах с ним за несколько месяцев перед отъездом из Парижа, когда родители мои твердо решили перебраться в Тулон.

Мы довольно часто ездили в Амьен провести несколько дней у деда и бабки. Иногда я задерживался у них. Как-то – мне было тогда пять лет – я прожил там несколько месяцев, и меня водили в находившийся неподалеку детский сад. Я сопровождал бабушку, когда она навещала друзей. Но, по правде сказать, мне больше нравилось в саду при их доме на улице Шарля Дюбуа: он казался мне очень большим. Позже я должен был признать, что мое детское впечатление сильно преувеличило его размеры и что на самом деле он был невелик. Иногда я видел, как там прогуливался мой дед в сопровождении своей собачки Фолетт, пирардского спаниеля черной масти. Чаще же всего я виделся с ним во время трапез в маленькой столовой флигеля, выходившего окнами во двор; всю первую половину дня он проводил в своем рабочем кабинете. О жилых помещениях у меня сохранилось лишь весьма туманное воспоминание. В сущности, сколько-нибудь ясно помнится мне только длинная застекленная галерея, к которой примыкали гостиные и большая столовая, куда я заходил редко. Все это казалось мне просторным и роскошным. На самом же деле речь шла о том, что именуется парадными комнатами, обставленными так, как это было принято в провинциальных буржуазных домах того времени для приема гостей.

Когда я впоследствии снова увидел этот дом, поразили меня не столько его размеры, сколько количество комнат на всех этажах. Конечно, там надо было размещать сына, двух невесток, да еще и обеспечить уголок для писателя, но в любом случае он мог принимать в своем доме и членов семьи, и друзей, нисколько себя не стесняя. Впрочем, в этом не было ничего необычного по тем временам, когда строили для потребностей более широких, чем теперь.

С 1901 года мы посещали деда и бабу в более скромном доме № 44 на бульваре Лонгвиль, в двухстах метрах от прежнего. Дед мой не изменил своих привычек. Всю первую половину дня он проводил в рабочем кабинетике, вполне заслуживавшем такого названия – настолько невелика была эта комната. Пользовался он двумя простыми столами – за одним писал, на другом располагались бумаги и документы, – вольтеровским креслом и походной кроватью. Когда в пять утра он вставал, ему достаточно было сделать один шаг, чтобы от сна перейти к работе. Сквозь туман воспоминаний видится мне прибитая к стене полочка с глиняными трубками.

От комнаты этой у меня осталось впечатление строгой кельи, предназначенной для работы и размышления. К кабинету примыкала более просторная и лучше обставленная комната, служившая библиотекой. Он заходил туда лишь для того, чтобы взять нужную для работы книгу. Такова была сокровенная обитель, где писатель, несомненно, искал одиночества и тишины.

В первый этаж он спускался только в часы трапез. Столовая освещалась большим окном, за которым виднелся крошечный садик, куда слетались воробьи клевать разбрасываемые бабушкой хлебные крошки. С противоположной стороны находилась широкая дверь в гостиную, загроможденную чрезмерным количеством мебели и довольно скудно освещенную окнами, выходившими на бульвар.

Дедушка, которому по состоянию его здоровья была в то время прописана строгая диета, ел наскоро, раньше, чем мы. Чтобы как можно скорее заканчивать всю процедуру еды, он пользовался низеньким стулом, так что тарелка была почти на уровне его рта. Впрочем, он имел право лишь на яйцо всмятку в чашке бульона.

Стремление поскорее кончать с едой было для него старой привычкой, усвоенной с тех пор, когда, терзаемый волчьим голодом своей болезнью, он торопился поглотить невероятное, ужасавшее его близких количество пищи. Чревоугодие было тут ни при чем, ибо он очень мало внимания обращал на содержимое блюд, к величайшему огорчению своей жены, весьма искусной поварахи. Он был голоден, вот и все, и голод этот явно причинял ему страдания.

Этот неутолимый голод являлся, по-видимому, признаком заболевания, которое я долгое время считал чисто желудочным, как и он сам, о чем свидетельствует его письмо к брату от 12 ноября 1895 года: «Я много работаю, но теперь беспрестанно испытываю головокружения – все это от расширения желудка, в моем возрасте, вероятно, неизлечимого. Дело явно идет к концу». В последние годы жизни ему пришлось резко ограничивать себя в еде, начав курс лечения – к сожалению, слишком поздно. Трудно избавиться от мысли, что постоянно испытываемый им голод связан был с диабетом, от которого он и погиб. Причина или следствие? Пусть решают врачи. Отметим только, что он страдал также тяжелой и длительной невралгией лицевого нерва, впервые проявившейся еще в 1854 году, вследствие чего, в конце концов, у него произошло опущение левого века.

Напрашивается вопрос: не проявился ли диабет, от которого он умер, в скрытой форме еще в 1854 году? Диабет незлокачественный может длиться очень долго, с периодами затухания, связанными с умеренным питанием, что и имело место, когда писатель был молод. В зрелом возрасте, когда материальное благосостояние его улучшилось, появился этот симптом ненасытности – над ним только посмеивались, – но он усилил не замеченное никем заболевание. Подтверждение этому я обнаружил в письме его зятя Жоржа Лефебра от 19 августа 1925 года, не слишком любезном по отношению к медицине. «Его доконали врачи, не обращавшие

внимания на сильнейший диабет, который все время подтачивал его. Наконец однажды возникли все прогрессирующие явления паралича, и через неделю он умер, вероятно, без особых страданий. Он всегда жаловался, что у него язык, словно у попугая». Добавим, что живот у него был огромным, может быть, от брюшной водянки.

Но что могли в 1905 году сделать врачи для больного, кичившегося тем, что он обходился без них в 1854-м?

Я позволил себе здесь это отступление как попытку объяснить полифагию писателя, проявившуюся, между прочим, и в его постоянной заботе о том, что и как едят его герои.

## 2. Происхождение

*Флери Верн и его потомство; семья Аллот де ла Фюи.  
Пьер Верн переезжает в Нант и женится на Софи Аллот де ла  
Фюи; рождение Жюль Верна 8 февраля 1828 года. Любопытная история с  
фамилией Ольшевич.*

Верн – кельтское название ольхи.

Не лишено значения, что одна река в Бретани, впадающая в море около Бреста, называется Олын<sup>1</sup>. И еще примечательней, что название ольхи – верн – этимологически восходит к слову кельтского происхождения и потому более древнему. Многочисленные французы, носящие фамилию Верн, могут быть уверены, что их наиболее отдаленные предки были кельты, то есть галлы, первыми из индоевропейцев достигшие Атлантического океана.

Какая-нибудь семья кельтского происхождения, обосновавшаяся в Божоле, получила прозвание Верн, вероятно, потому, что обитала на берегу речки, поросшем ольхой. Есть все основания считать, что те, кто сохранил это кельтское наименование, принадлежали к населению областей, впоследствии покоренных римлянами.

Галльское имя Верн довольно распространено. Я встречал немало людей, носящих эту фамилию, и был поражен тем фактом, что, когда они пытались установить свое происхождение, это обычно приводило их в Божоле, что подтверждает наше семейное предание, по которому один из наших предков выехал в царствование Людовика XV из Божоле и обосновался в Париже.

Действительно, в ту пору в Париже проживал некий Флери Верн, женатый на девице Тиссье, которая, овдовев, вторично вышла замуж за господина Шинье де Шанренар.

У Флери был сын, Антуан Верн, который при Людовике XV занимал должность нотариального советника и секретаря Высшего податного суда в Париже. Во Французском государственном архиве сохранилась справка об Антуане Верне, составленная председателем этого суда: «Адвокат Парламента в должности нотариального советника, секретарь Высшего податного суда в Париже», и «почетная грамота» от 7 сентября 1780 года, указывающая, что Антуан передал свою должность другому лицу 7 августа 1780 года. Сын его Габриэль был назначен помощником судьи в Провен, где он женился в месяце брюмере III года Республики (1794) на девице Марте-Аделаиде Прево, родившейся в Провене 11 августа 1768 года.

Габриэль скончался 20 января 1846 года, а его жена – 27 мая 1861. После них осталось четверо детей: Мари-Антуанетта, Огюстина-Амели, Пьер-Габриэль и Альфонсина-Розали. В письме, извещающем о смерти Габриэля, упоминалось, что скончался он на восемьдесят первом году жизни, что позволяет считать годом его рождения 1766.

Мари-Антуанетта вышла замуж за Поля Гарсе, преподавателя истории и литературы в Париже, и родила сына Анри Гарсе, о котором речь будет ниже. Сестры ее остались незамужними. Что касается Пьера, родившегося в Провене 15 вантаза VII года (5 марта 1798) и старшего в семье, то он уехал изучать право в Париж, где проживал у своего деда Антуана.

В 1825 году он получил право адвокатской практики в Париже. Дядя его, Александр Верн, офицер морского интендантства в Нанте, сообщил ему, что некий нантский адвокат хотел бы уступить свою практику. Пьер отправился в этот крупный центр Бретани в 1826 году и стал преемником мэтра Пакто, чья контора помещалась в доме № 2 по набережной Жан-Бар. Тогда ему было двадцать восемь лет. Вскоре он влюбился в девушку с гибкой фигурой,

---

<sup>1</sup> L'aulne (франц.) – ольха.

кротким и нежным личиком. Рыжевато-золотистый блеск ее кудрей был для него солнечным лучом в унылой серости нантской осени.

Ему нетрудно было выяснить, что девушка, к которой устремились его помыслы, была дочерью Жан-Жака Аллот де ла Фюи, по профессии главного бухгалтера, и Софи-Аделаиды-Мари-Жюльенны Лаперьер, проживавших на улице Оливье-де-Клиссон на острове Фейдо.

Молодой адвокат был представлен семье и получил разрешение ухаживать за Софи-Наниной-Анриеттой. Молодые люди понравились друг другу, и бракосочетание свершилось в церкви Сент-Круа 19 февраля 1827 года. Софи, родившейся в Морлэ 3 февраля II года (25 ноября 1800 года), было двадцать шесть лет.

Семейство, обладавшее весьма скромными средствами, обосновалось в доме № 4 по улице Оливье-де-Клиссон у родителей молодой. Точнее было бы сказать – у ее матери, так как Жан-Жак Аллот много разъезжал, часто отсутствовал, так что в дальнейшем между ним и женой произошло разделение имущества.

8 февраля 1828 года родился ребенок – Жюль Табриэль Верн, за ним следовали Поль, Анна, Матильда и Мари, младшенькая, братьями и сестрами прозванная Крошкой.

Итак, через Пьера, Габриэля и Антуана Жюль Верн – потомок Флери Верна.

Я не устоял перед желанием выяснить, кто же такой этот Флери Верн. Согласно данным французских архивов, он, весьма вероятно, был сыном Матье Верна, лионского горожанина, проживавшего на площади Якобинцев, и братом Гийома и Матье-младшего, состоявших в должности королевских герольдов провинции Лионнэ. Должность эта существовала с очень древних времен.

Добавим, что после отмены Нантского эдикта<sup>[1]</sup> те из рода Вернов, которые были сторонниками Реформации, эмигрировали, но затем возвратились во Францию и обосновались в Севеннах, изменив предварительно написание своего имени, к которому они добавили букву N или букву S.

Теперь можно сказать, что мы достаточно знаем о происхождении Пьера Верна и его детей, но откуда ведет свой род Софи, которая, по всей вероятности, передала своему сыну дар воображения?

Госпожа де Лассе<sup>[2]</sup>, дочь Роже Алл от де ла Фюи и внучка генерала Жоржа Аллот де ла Фюи, установила свою родословную вплоть до 1462 года, когда «Н. Аллот, шотландец, прибывший во Францию для службы в отряде шотландских гвардейцев Людовика XI, оказал королю услуги, за которые был возведен в дворянское звание и получил «право Фюи», то есть право быть владельцем голубятни, а это была королевская привилегия. Шотландский лучник обосновался неподалеку от Лудэна, построил себе замок и стал называться Аллот, сеньор де ла Фюи».

Через Александра Аллот де ла Фюи мы добираемся до Жана Огюстена, сочетавшегося браком с Аделаидой Гийоше де Лаперьер. Его сын Жан-Луи Огюстен, супруг Луизы де Боннмор, стал отцом генерала Жоржа Аллот де ла Фюи и полковника Мориса Аллот де ла Фюи. Но у Жана Огюстена с Аделаидой было, кроме того, четыре дочери: Лиза, ставшая г-жой Тронсон, Пальмира, Каролина, вышедшая замуж за Франсиска де ла Селль де Шатобур, потерявшего свою первую жену Полинуде Шатобриан, и, наконец, Софи, мать Жюля Верна. Некоторую путаницу во всю эту родословную вносит то обстоятельство, что генерал Жорж Аллот де ла Фюи женился на внучке Софи, Эдите Гийон, дочери Мари.

Таким образом, по своим предкам с материнской стороны Жюль Верн – уроженец ласковой анжуйской земли, а со стороны отцовской – его родовые корни в виноградниках Лионнэ. Правда, со стороны матери предком оказался шотландский лучник, над чем в семье принято было подшучивать.

Если я счел нужным так подробно говорить о предках Жюля Верна со стороны отца, то лишь из-за нелепой легенды, многократно опровергавшейся, но неизменно всплывавшей



вновь, согласно которой он – польский еврей по фамилии Олыпевич, нашедший убежище в Италии, где его приютили польские монахи ордена Воскресения!

Опубликование его метрического свидетельства должно было бы положить конец этой небылице.

Оказывается – ничего подобного, ибо это странное утверждение фигурирует, как меня уверял один преподаватель английского языка, в Британской энциклопедии. Мало того, совсем недавно я получил письмо от одной американки, убежденной в том, что она моя родственница, поскольку фамилия ее деда была Олыпевич.

История эта общеизвестна. В 1875 году Жюль Верн получил из Польши письмо от некоего г-на Отсевича<sup>2</sup>, который называл его братом и утверждал, что они не виделись тридцать шесть лет. Он счел это шуткой. Спустя два месяца тот же поляк прислал второе письмо, а за этим последовал визит со стороны одного польского журналиста, который авторитетно заявил Жюлю Верну: «Вы – польский еврей и родились в Плоцке, в русской Польше. Фамилия ваша Олыпевич от слова «олыпа», что по-польски значит «олха». Дерево это на старофранцузском называется «вернь» или «верн», вы сами перевели свою фамилию на французский язык. Вы отреклись от иудейского вероисповедания в 1861 году, находясь в Риме, для того чтобы получить возможность жениться на богатой польке княжеского рода. Монахи польской конгрегации Воскресения окрестили вас после того, как в христианской вере вас наставил преподобный отец Семенко. Однако помолвка ваша с княгиней Крыжановской не состоялась, и ваше перо купила Франция, предложив вам по совету Святого престола должность в министерстве внутренних дел»<sup>3</sup>.

Писатель, разумеется, расхохотался и ответил шуткой. Если верить госпоже Аллот де ла Фюи, он посмеялся над своим собеседником, заявив ему, что фамилия его польской невесты была Крак...ович, что он ее похитил и что она вследствие ссоры с ним утопилась в озере Леман.

Профессор Эдмондо Маркуччи<sup>[3]</sup> решил выяснить, чем могло быть вызвано нахальство польского журналиста, искавшего тему для статьи, когда дело усложнилось выступлением одного итальянского журналиста в «Джорнале д'Италия», поддерживавшего ту же версию.

По просьбе Эдмондо Маркуччи отец Тадеуш Олейньезак, настоятель монахов Воскресения, справился в архивах своего ордена и написал ему следующее письмо:

«Дело Верна основано на чистом недоразумении. После кончины знаменитого писателя (25 марта 1905 года) покойный отец Павел Смоликовский опубликовал в газетах данные о его якобы еврейско-польском происхождении. Не разобравшись как следует, он допустил ошибку *cir ca persona*<sup>4</sup>, спутав француза Жюля Верна с бывшим польским евреем Олыпевичем, принявшим имя Жюльен де Верн».

Эдмондо Маркуччи опубликовал это письмо в № 2 (1936) бюллетеня Жюль-верновского общества.

Признаюсь, что я не разделяю возмущения Шарля Лемира<sup>[4]</sup> этой легендой. Если на Жюля Верна претендовали поляки, если итальянцы считали его итальянцем, венгры полагали, что он венгр, то не является ли это признаком величайшего уважения к интернациональному, универсальному, «экуменическому», по выражению Андре Лори<sup>[5]</sup>, характеру его творчества?

Ошибке отца Смоликовского обязаны мы занятной историей, немного позабавившей нас. Лишь ради соблюдения точности счел я нужным обосновать твердо установленное кельтское происхождение писателя, не говоря уже о его не оставляющем сомнений метрическом свидетельстве.

---

<sup>2</sup> Написание самого Жюля Верна.

<sup>3</sup> M. Allote de la Fuye. Jules Verne, sa vie, son oeuvre. P., Hachette, 1953.

<sup>4</sup> Относительно личности (лат.) – Прим. пер.

К сожалению, отравленные стрелы, выпущенные журналистом из «Джорнале д'Италиа», оставили следы, подсказав профессору Маркуччи нижеследующие строки: «Психоаналитики, вы позабыли «Необыкновенные путешествия»...» Это уж слишком большая честь для «безрассудных и злонамеренных» домыслов итальянского журналиста: его никак нельзя причислить к психоаналитикам!

### 3. Пьер Верн

*Портрет отца. Его моральные и религиозные тревожения.  
Софи Верн и ее дар воображения.*

Годы детства оставляют в нас самый глубокий отпечаток. Затем запечатлеваются наши юношеские стремления и, наконец, более медленно, – чувства, которые владеют нами в зрелом возрасте.

И вот Марсель Море<sup>[6]</sup>, в книге своей «Очень занятный Жюль Верн», весьма приятной для чтения, поставил «проблему отца».

Отец – это Пьер Верн. Какое влияние оказал он на сына? Пьер был сыном помощника судьи Провенского трибунала. Дед его был нотариусом Податного суда. Сам он принес адвокатскую присягу и вскоре стал стряпчим в Нанте, где исполнял свои обязанности с такой честностью, что, как меня уверяли, в Нанте ходила поговорка: честный, как Верн. В личной жизни он производил впечатление – внешне – человека строгого, однако в общении был весьма приветлив.

Полковник Морис Аллот де ла Фюи, племянник Софи и Пьера, писал мне 19 января 1928 года:

«Отца вашего я едва знал, деда несколько лучше, ибо он очень радушно принимал меня у себя в Отёйе, когда я готовился к экзаменам в Политехническую школу. Но наиболее четкие воспоминания о ваших прадеде и прабабке, то есть о моей тетке Софи Аллот и дяде Пьере Верне, человеке большого ума и очарования, страстном меломане, являвшемся душой наших семейных собраний, довольно частых в то время, относятся к периоду от 1865 по 1872 год; не было семейного круга более тесного, чем в доме моего отца».

В письме от 6 января 1929 года Раймона Дюкре де Вильнев – внука Пьера и Софи, говорится: «Однако мне хорошо известно, какое влияние имела семья Вернов (на Жюля), в особенности же – это я сам наблюдал – наш дед Пьер Верн: я очень ясно помню все это, ведь в мои юные годы я почти все время воспитывался при нем. Какой это был добрый и очаровательный человек, несмотря на свою, может быть, несколько суровую внешность. Но сколько любви было в его сердце, и каким он обладал умом, решительно ничего не чуждавшимся! Ибо, будучи весьма авторитетным юристом, а также эрудированным знатоком литературы, тонким и остроумным стихотворцем, он увлекался и наукой, открытиями, которые делались в различных ее областях, и любил о них говорить...»

Как отмечают Раймон Дюкре де Вильнев и Морис Аллот де ла Фюи, в Пьере Верне поражала его исключительная любезность: слово «очаровательный» употреблено в обоих письмах. Создается впечатление, что его порою строгий вид был всего лишь известной серьезностью, подобающей его профессии и в особенности – некоторым его душевным устремлениям. Так, все сходятся на том, что он был до крайности благочестив. В жизни его религия занимала важнейшее место, доходя почти до мистицизма. Отец говорил мне, что он даже подвергал себя бичеваниям. У меня имеются его заметки на клочках бумаги, заставляющие предполагать, что, отдыхая между делами адвокатскими, он любил кратко записывать мысли, все они – исключительно религиозные. Строгий ортодокс, он порою рассуждал как янсенист<sup>[7]</sup>.

Основные устремления Пьера Верна имели, стало быть, религиозный и нравственный характер. Можно не сомневаться, что по примеру собственной жизни он и детям своим старался внушить прочные нравственные убеждения и религиозные чувства. Но в его записях обнаруживается некое внутреннее борение; он хотел бы иметь веру угольщика, он изо всех сил стремится к этому и проповедует действенность истязания грешной плоти. В основе всего этого можно обнаружить часто упоминающийся в такой связи комплекс страха перед отцом.

Но, как и многие, Пьер Верн находился на полпути между суровостью Ветхого завета и кротостью Нового, и кротость у него побеждает. Это страстно верующий и чувствительный христианин, который проявляет суровость, лишь когда речь идет о морали.

Софи, разумеется, получила типично христианское воспитание и была не менее благочестива, чем ее муж. Однако она, наверное, не разделяла его метафизических исканий и не рылась, подобно ему, в текстах святого Фомы Аквинского<sup>[8]</sup>. Более спокойная и кроткая, она вносила в круг своей семьи дар живого воображения, отливающего всеми цветами радуги.

В этой семье юный Жюль обретал уравновешенность Вернов, их литературные склонности, критическое чутье, обостренное практикой в области юриспруденции, и вместе с тем его увлекал поток несколько бурного воображения Аллотов, без сомнения склонных к фантазированию. Он находил здесь также величайшую нежность как со стороны отца и матери, так и со стороны брата Поля и своих трех сестер.

Дядя его Шатобур, зять Софи, был художником и сыном художника, от которого остались прелестные миниатюры и от личные карандашные рисунки. Юный Жюль охотно слушает дядю Шатобура, рассказывающего об Америке со слов Шатобриана, на старшей сестре которого он был женат в первом браке.

В течение всей своей юности Жюль Верн усваивал – и это вполне естественно – религиозные убеждения отца. Воспитанный в духе римско-католической ортодоксии, он и ортодоксален был на манер Пьера, подчинявшего свою веру осмыслению. Еще в 1868 году он писал Этцелю по поводу французской географии и знаменитых людей – уроженцев побережья Северного моря: «Ренан! Этот бледный человек в коричневом сюртуке, как про него говорит Вейо. Квалифицировать его как ориенталиста? Между нами говоря, он только ориенталист, не более». На это он получил от Этцеля приписку в конце своего письма: «Болван! Разве он при всех обстоятельствах не замечательный писатель? Вы, такой мастер описаний, почитайте его речи, спрятав предварительно в карман свое предубеждение».

В то время на глазах у него еще были шоры; когда затрагивался вопрос о католической религии, для него было свято мнение официального духовенства. Однако уже тогда он объясняет отказ отца сделать вклад в издательскую фирму Этцеля подобными же узкорелигиозными соображениями, которые излагает безо всякого одобрения:

«Подозреваю, что в основе этих колебаний есть причина, о которой отец не говорит мне открыто. Он – человек до крайности благочестивый и безоговорочный католик по глубокому убеждению и в самом абсолютном смысле. Вы же издаете книги отнюдь не католические – не скажу чтобы не христианские, – но среди них есть и такие, которые пользуются огромным успехом, однако, ничего общего с католичеством не имеют. Я убежден, что отца очень смущает эта мысль, и, хотя он сам ничего не говорит, я это чувствую».

Можно убедиться, что в отношении к религии Пьера и его сына возник некий разрыв, ибо сын все меньше и меньше подчиняется церковной дисциплине. Если Пьер был человек благочестивый, то Жюль на такое определение притязать не может. От всего, связанного с культом, он несколько отошел: жена его ходила в церковь, а он нет. Католиком он остался, но не соблюдал религиозных обрядов. Только в этом плане между двумя поколениями можно обнаружить некоторое несогласие. Оставшись деистом, он продолжал эволюционировать в сторону от религии и сохранял лишь какие-то основы христианского учения, прежде всего – мораль. Разрыв между мистицизмом отца и холодностью в этом отношении сына обозначился бы, вероятно, еще резче, если бы Пьер прожил дольше.

## 4. Шантене

*Детство Жюль Верна в доме на острове Фейдо; детский сад Самбен.  
Коллеж Сен-Станислав. Деревенский дом в Шантене, где встречаются  
кузены и кузины. Одиннадцати лет Жюль пытается поступить юнгой на  
трехмачтовое судно «Короли».*

Когда 8 февраля 1828 года у Пьера и Софи родился их первый ребенок Жюль Табриэль, событие это лишь ускорило их решение не задерживаться на улице Оливье-де-Клиссон, и в течение того же года им удалось снять квартиру на набережной Жан Бар, № 2, совсем рядом с адвокатской конторой.

Лет пяти-шести Жюль посещал детский сад госпожи Самбен, вдовы капитана дальнего плавания, пропавшего без вести в море; она все время ждала его возвращения, всеми признанного невозможным. Разделяли ли маленькие питомцы ее тревоги и надежды? Вдохновился ли ими один из них, когда спустя пятьдесят лет написал «Миссис Брэнкен»? Возможно, так как он обладал исключительной памятью.

Жюлю было десять лет, а Полю восемь, когда, по словам госпожи Аллот де ла Фюи<sup>[9]</sup>, они были отданы в небольшую семинарию Сен-Донатьен. На самом же деле оба брата поступили в школу Сен-Станислав. Директор этого заведения обнаружил их имена в списках награжденных за отличную учебу в годы 1837–1838, 1838–1839 и 1839–1840. В архиве не хватало списка за год 1836–1837, и потому неизвестно, был ли Жюль Верн учеником 8 класса.

В 7-м классе Жюль получил три почетных отзыва за свободную тему, за знания по географии и за пение и первый почетный отзыв за сочинение. В 6-м классе он сумел остаться на том же уровне по пению и получить первый почетный отзыв за перевод с французского на греческий, второй – за письменную работу по-гречески и третий – за знания по географии. В наградном списке пятого класса он имеет первый почетный отзыв за латинское сочинение и второй отзыв по пению.

Если правда, что Жюль проявил себя как «король перемен» и отличался гораздо меньшим рвением в учебе, он все же оставался хорошим учеником.

Ему достаточно было числиться в первом десятке успевающих, ведь занимался он неплохо. Когда впоследствии он стал учеником Королевского лицея, он и тут не проявил себя как-то особенно. По риторике он добился только четвертого похвального отзыва за рассуждение на французском языке и пятого – за латинское сочинение и просто награды, но все же, как говорят, награды за знания по географии. Экзамен на звание бакалавра он выдержал без труда.

В письме к отцу от 14 марта 1853 года он, может быть, вспомнил о своем недостаточном прилежании в школе: «О да! О дети! Не учились по-настоящему в дни юности! Но ведь это же всегда так; к счастью, прилежные дети чаще всего оказываются туповатыми молодыми людьми и совершенными болванами в зрелом возрасте».

Конечно, не следует понимать буквально это изречение, отчасти справедливое, но рискующее оказаться не слишком полезным всем и каждому. Каждый поступает по своим возможностям. Воспитатели же должны стараться дать детям ту общую основу, которая позволит им, уже в более зрелом возрасте, систематизировать знания, приобретенные благодаря личным усилиям.

Именно так произошло с Жюлем Верном. Когда после четырнадцати лет работы Пьер сумел придать своей адвокатской конторе такое значение, что она стала первой в городе, он решил подыскать для нее более обширное помещение, а также и квартиру, в которой его многочисленная семья могла бы жить с большим комфортом.



В 1840 году, когда его старшему сыну исполнилось тринадцать лет, он переехал на улицу Жан-Жака Руссо, № 6, поблизости от того рукава Луары, который был засыпан и сейчас образует широкий бульвар, и от стрелки острова Фейдо, носа этого большого корабля, отныне оказавшегося на суше. Как официально практикующий юрист, он, несомненно, был доволен тем, что находится теперь поблизости от торговой палаты, делового центра города, но по-прежнему неподалеку от здания Городского суда. Детей тоже это устраивало: они, как и прежде, мог ли бегать на набережные и подниматься вверх по улице Кервеган, спинному хребту острова Фейдо, чтобы без труда добираться до улицы Оливье-де-Клиссон. Они жили в атмосфере порта, тогда еще действовавшего. Позже измельчание устья Луары должно было обречь его на летаргию, которая в настоящее время преодолевается бретонским упорством.

Госпожа Аллот де ла Фюи имела все основания подчеркивать, что маленький Жюль провел детство на острове Фейдо; добавим: также в непосредственной близости от него и на набережных. Она знала этот квартал, когда он был еще островным; дома его были построены на сваях двадцатью четырьмя богатыми плантаторами из Сан-Доминго, которые, будучи разорены Парижским мирным договором 1763 года и исчезновением Вест-Индской торговой компании, принуждены были покинуть свои роскошные особняки; их верхние этажи были переоборудованы под квартиры, а нижние отданы под торговые помещения.

Остров Фейдо, где Жюль Верн жил в раннем детстве, уже не являлся таким прелестным местом обитания, каким он был во времена Людовика XV и каким я увидел его на старинном расписном веере, но это все же был еще остров, речной, разумеется, однако же овеянный дыханием океана. К его набережным пришвартовывались баркасы с рыбаками из Круазика и рабочими с солеразработок Геранды; здесь велась оживленная продажа рыбы, которую скупали базарные торговки; отсюда видны были мачты парусников, стоявших на якоре в порту, и ощущалось широкое движение на набережной Фосс.

Можно ли сомневаться, что детское любопытство частенько влекло Жюля и Поля на набережные, чтобы вблизи увидеть крупные парусники дальнего плавания, и что они проводили там очень много времени? И доныне приход и отплытие крупного корабля – зрелище, властно влекущее к себе жителей порта. Движение крупных парусников не могло не завораживать мальчиков, не давать им темы для бесконечного обсуждения. Откуда пришел этот великолепный трехмачтовик? К уда направляется этот бриг? Товары, выгружаемые с этих судов, источали запахи островов, таких далеких и таинственных, что они заполняли детские сновидения. Как завидовали они юнгам их возраста, которые, завербовавшись на работу, отправлялись на таком корабле, чтобы испытать всевозможные приключения в стране чудес! Им удавалось заводить дружбу кое с кем из них и выпытывать, как протекает жизнь на судне. Нетрудно представить себе беседы этих мальчишек между собой. Вероятно, именно к этому времени относятся первые впечатления Жюля Верна, заставившие его впоследствии сделать признание: «Когда я вижу, как отплывает корабль, все мое существо рвется на его палубу!»

Жюль и Поль обращали свои взоры в сторону океана, присутствие которого они ощущали, когда приливная волна вливалась в устье реки. Морские просторы влекли их к себе, и первым поддался искушению Жюль.

Пьер Верн приобрел деревенский дом в Шантене, селении, ставшем сперва пригородом, а затем кварталом Нанта. Это предместье обладало, видимо, особой привлекательностью, ибо впоследствии брат и сестры Софи тоже построили там дачи. Шантене превратился затем в промышленную часть города. Сейчас скромный дом Вернов неузнаваем, зажатый между соседним строением и школой, отторгшей от него и оставшуюся часть сада, он имеет жалкий вид. Во времена, когда там появлялся маленький Жюль, дом стоял в окружении полей, и взгляд мальчика, устремляясь вдаль, мог достичь самой Луары.

Во время каникул и в праздничные дни «король перемен» мог в Шантене или в Герше у дяди Прюдана предаваться всем радостям сельской жизни с братьями, сестрами, кузенами и

кузинами. Среди этих кузин оказалась та, которая заставила сильнее забиться его отроческое сердце: Каролина Тронсон, дочь его тетки Лизы. Вкус у Жюля был хороший: девочка обладала очень привлекательной внешностью. Будучи на год старше его, она уже кокетничала и с улыбкой принимала ухаживания этого безумца Жюля.

Летом 1839 года мальчуган невесть каким образом узнал, что в Вест-Индию направится судно дальнего плавания – трехмачтовая шхуна под названием «Корали». Какие мечтания это в нем возбудило! Чудесный корабль, уходящий в Индию, ко всем ее чудесам, предстоящее длительное плавание, сулящее любые приключения, эти мощные паруса, распускающиеся, словно крылья птицы, готовой тебя унести. Да и само название «Корали», похожее на имя любимой кузины, – оно само таит в себе некий зов! Он наслаждается музыкой слов: в этих дальних морях не может не быть кораллов. Уехать на «Корали», попасть в Вест-Индию, привезти оттуда коралловое ожерелье, которое будет подарено Каролине, – разве это не приключение, полное поэзии!

В мозгу одиннадцатилетнего паренька, смеющегося над всеми трудностями, возникает план<sup>5</sup>. Поступить на корабль юнгой – дело нелегкое: он понимает, что его семья этого не допустит. Поэтому он прежде всего наводит справки и сговаривается с мальчиком своих лет, который уже принят в качестве юнги на готовящееся к отплытию судно. Тот соглашается уступить ему свою должность за небольшую сумму денег. Жюль подсчитывает свои скромные сбережения. Происходит торг и вскоре сговор насчет цены. Где и каким образом доставить Жюля на корабль, чтобы не привлечь внимания капитана? В последний момент шлюпка доставит двух юнг на «Корали», взяв их у лодочного причала Гренуйер, при сообщничестве еще одного юнги, так как надо же было кому-нибудь вернуть лодку обратно на берег.

Сценарий этот был явно разработан заранее, так как иначе мальчик не смог бы в шесть утра бесшумно выйти из дому пересечь всю деревню Шантене, пробуждавшуюся от сна, добраться до лодочного причала Гренуйер и найти там поджидавшую его лодку с двумя юнгами.

Все обошлось как нельзя лучше, и в суматохе отплытия подмена одного из юнг прошла незамеченной. В Шантене же дом начал пробуждаться. Отсутствие Жюля, конечно, замечают, но Софи сперва, по-видимому, считает, что сыну ее пришла в голову причуда пойти прогуляться! Затем она удивляется, расспрашивает братьев и сестер негодника, которые утверждают, что о его намерениях им ничего не известно. Проходят часы, Софи охватывает беспокойство. Половина первого – Жюль не появляется. Мать уже в полной тревоге, его отсутствие объясняется только одним: ее старший сын стал жертвой несчастного случая. Она просит соседа, полковника де Гойона, поехать верхом предупредить Пьера Верна. Юрист начинает свое расследование: бывшая служанка Вернов, ставшая теткой Пари, колбасница, видела Жюля на церковной площади. К этим первым сведениям добавляются вскоре другие, совершенно недвусмысленные: лодочник с причала Гренуйер, находившийся в кабачке «Человек с тремя фокусами», у Жан-Мари Кабидулена, видел, как он в сопровождении двух юнг ехал в лодке к кораблю дальнего плавания «Корали», который готовился к отплытию в Индию и сегодня вечером должен бросить якорь в Пембефе.

К счастью, Пьеру удается попасть на пироскаф, который и доставляет его в Пембеф как раз вовремя, чтобы перехватить сына на «Корали».

Таковы факты, очень живо изложенные госпожой Аллот де ла Фюи, которая добавляет, что «Жюлю дали хороший нагоняй, выдрали, посадили на хлеб и воду, и он должен был поклясться матери, что впредь будет путешествовать только в мечтах».

Я решил проверить подлинность этого рассказа, подумав, что талантливый биограф, быть может, несколько приукрасила действительность.

---

<sup>5</sup> Жюлю было тогда одиннадцать с половиной лет.

Я знал, что двенадцати лет мой дед действительно убежал из дому, чтобы тайно уплыть на корабле, и был вовремя настигнут своим отцом.

Господин де Гойон действительно был соседом Вернов, замок его еще существует. Я отправился туда в сопровождении мадемуазель Люс Курвиль, очаровательной и весьма эрудированной сотрудницы Нантской библиотеки и хранительницы Музея Жюль Верна. В замке господина де Гойона сейчас помещается частный коллеж, где нам охотно дали все требуемые сведения. Трехмачтовик «Корали» действительно принадлежал торговцу Ле Кур Гран Мэзон; фамилия колбасницы действительно была Пари. Следовательно, можно вполне доверять тексту госпожи де ла Фюи. Однако я не нашел никакого подтверждения ни предлогу выставляемому мальчиком (желание подарить коралловое ожерелье Каролине), ни тому, что он был «выдран» отцом.

Весьма вероятно, что мальчику устроили головомойку, наказали. Но был ли он «порот» и в какой мере? Посажен на хлеб и воду? Мы об этом ничего не знаем, но с помощью воображения слова под пером биографа мало-помалу приобретают другое звучание. Бернар Франк<sup>[10]</sup> написал, что «основательная порка» излечила предприимчивого мальчугана от стремления стать юнгой и увлечения вечно женственным, но нам недостаточно этой еще более резкой формулировки, чтобы принять подобную интерпретацию. Все же приходится обсуждать этот вопрос, ибо Марсель Море, анализируя этот текст, уверяет нас, что Пьер, «всыпав сыну по первое число, посадил его на хлеб и воду», и делает вывод, будто сверхвпечатлительный ребенок, для которого пребывание в отцовском доме уже связано с какой-то смутной неудовлетворенностью (что и проявилось в побеге), получает от отца урок, память о котором остается у него в подсознании. И если в нем произойдет внутренний переворот, ставящий его в оппозицию «отцу-истязателю, он запрет свои помыслы на замок. Порка, полученная в 1834 году, сделает из него герметически замкнутое существо».

Заслуженное, в общем, наказание, полученное двенадцатилетним мальчиком, вряд ли может исказить для него образ отца. Самое большее – в том случае, если оно незаслуженно и чрезмерно, – оно может стать причиной враждебности, но это вполне сознательное чувство делается источником не подсознательного комплекса, а вполне явного мятежа.

Правда, предполагаемая расправа явилась бы возмездием за побег, а побег рассматривается как нечто соответствующее невозможности приспособиться к данным условиям. Но это общее положение может иметь исключения. Желание уйти часто, конечно, вызывается желанием избавиться от окружения, к которому плохо приспосабливаешься, однако у него может быть и другая причина: мне лично по профессиональному долгу пришлось не раз заниматься юными беглецами, и я мог убедиться, что порой дело для них было совсем не в желании избавиться от семейной обстановки, а в удовлетворении простого любопытства увидеть море.



*Jules Verne*

*Жюль Верн в 1856 году.  
Автограф Жюля Верна*

Я отнюдь не думаю, что между отцом и сыном перестало царить доверие и что сын сохранил в своем сердце какую бы то ни было враждебность. Переписка между ними – лучшее доказательство, а она подтверждает, что между отцом и сыном существовала полная доверия близость: редко бывает, чтобы сын писал отцу с такой свободой, которая покорила бы многих родителей.

Пьер иногда оспаривал планы своего сына, обеспокоенный его будущим, но под конец всегда уступал его желаниям, и, видимо, довольно легко. Нельзя не признать, что для мирного провинциального нотариуса тридцатых годов прошлого века, неизбежно привязанного к определенной традиции, к порядку, к известной социальной иерархии и привыкшего к уравнищенности в суждениях, трудно было принимать без удивления устремления сына в разных и даже противоположных областях.

Мог ли он рассчитывать на хорошую будущность для мальчика, который, будучи посланным в Париж заниматься юридическими науками и готовиться к карьере нотариуса, вдруг, выдержав все экзамены, заявил ему, что намеревается стать драматургом?

Пьер проявляет тонкое понимание. Он не только не лишает материальной поддержки студента, упорствующего в нежелании разумно принять от отца нотариальную контору, но и продолжает давать ему советы, как сочинять эти легкомысленные пьесы, от которых его корбит. Взаимное доверие между ними так велико, что он, если понадобится, станет искать в сборниках с изложением юридических дел материалы, подходящие для юного автора... водевилей.

Его порадует, что сын преуспел в жанре более серьезном, в жанре новеллы, он даже станет уговаривать его добиваться академической премии.

И когда этот «экстравагантный сын» пожелает в один прекрасный день заняться мелким биржевым маклерством, отец, после краткого сопротивления, даст себя убедить и позволит ему осуществить эту последнюю прихоть.

Как же хоть на миг поверить, что этот покладистый родитель был тем отцом-истязателем, к которому сын сохранил «глухую враждебность»? Жюль, пишет Марсель Море, в результате происшедшего в недрах его психики переворота стал в оппозицию по отношению к родному отцу. Подобная теория должна быть основана на точных фактах. А между тем факты говорят о том, что эти представители двух поколений отнюдь не враждовали между собой, напротив, были очень близки.

Пьер понимал своего сына и, несмотря на все его фантазии, оказывал ему полное доверие, не сомневаясь, что твердая воля вела его неизменно к намеченной цели, какие бы случайности ни возникали на пути.

Что же до Жюля, то по тону его писем видно, что общение с отцом было для него непри-  
нужденным и легким. Надо признать, что ни смущение, ни страх проявить непочтительность не сдерживали его, ибо он без стеснения сдабривал свои послания шуточками, которые поко-  
рили бы многих отцов, завернувшихся в тогу собственного достоинства. Он смотрел на отца как на товарища и друга.

Приведу только один пример.

«Кстати, я становлюсь другим человеком! Духу моему лет восемьдесят, у него костыли и очки. Я превращаюсь в существо старое, как мир, умудренное, как семь мудрецов Греции, глубокое, как гренельский колодец, я – наблюдателен, как Араго, морализирую, как резонеры старых комедий, Вы меня просто не узнаете, сердце мое обнажено.

Никогда еще я не расточал столько сравнений, как сейчас. Может быть, потому, что меня донимают колики. Какой ужасный желудок я унаследовал от мамы. А ведь я между тем веду примернейшую жизнь, и святой Иоанн Стилит, в течение десяти лет простоявший на столпе, чтобы заслужить благоволение небес, по образцовому поведению ни в какой степени со мной не сравнится.

Живу словно в Фиваиде. Не скажу, чтобы я питался птичьим пометом, но недалеко от этого, а мясо, которым я поддерживаю свои силы, протаскало в славном городе Париже немало омнибусов. Мне очень хочется стать мизантропом, как Альцест, и молчальником, как трап-  
пист».

Между представителями двух поколений могли время от времени возникать интеллек-  
туальные разногласия, поскольку они были людьми разных эпох, – это лишь нормальное след-  
ствие исторической эволюции, и удивляться тут нечему.

Для того чтобы это объяснить, нет нужды говорить о наличии какого-то гипотетического  
смятения в душе ребенка. Напротив, можно полагать, что влияние Пьера, принадлежавшего  
еще к XVIII веку, заставило писателя XIX в очень осторожной и скрытой форме высказывать  
суждения, которые могли бы потрясти умы, верные традиции.



## 5. Каролина

*Первая любовь к двоюродной сестре Каролине. Изучение права, отъезд в Париж в 1847 году.*

Если в отроческом возрасте Жюль не проявлял чрезмерной страсти к школьным наукам, ум его все же не дремал. Он часто бывал у книготорговца Бодена вместе со своими приятелями Женеуа, Мезонневом, Комту ди Тертр, образовавшими «клуб экстернов».

Рассказывают<sup>6</sup>, что на уголке стола в этом книжном заведении юный Жюль написал трагедию в стихах, отвергнутую Театром марионеток «Рикики!». Двоюродные братцы и сестрицы также не пришли в восторг от этого произведения, что глубоко обидело юного автора. Его поняла только Мари Тронсон, за что получила сонет, заканчивающийся следующими строчками:

Ты сердцем жалостным печаль мою лечила,  
Рукой своей, всегда желанною и милой,  
Мне слезы утереть готова ты была.

Нет сомнения, что стихи он предпочел бы посвятить не Мари, а Каролине Тронсон. Но были бы они оценены этой легкомысленной особой? О Каролине я не имею никаких достоверных сведений, кроме письма, извещающего о ее кончине в Нанте 11 февраля 1902 года. Ей было тог да семьдесят пять лет, что дает право считать годом ее рождения 1827.

Нельзя избавиться от легкой грусти, представляя себе ее изящный силуэт в те дни 1839 года, когда она играла в Герше. Ей было лет двенадцать, и она уже вскружила голову кузену Жюлю, который был на год моложе ее. Не будет чрезмерной смелостью вообразить, что она догадывалась о тех возможностях, которые искусство нравиться может предоставить даже девочке, пожелавшей утвердить себя в глазах окружающей ее детской компании. В двенадцать лет девочки – это зачастую женщины в миниатюре, и нередко замечаешь, что они весьма чувствительны к знакам восхищения, показывающим их превосходство над другими. У них хватает проницательности для понимания того, что достаточно очаровать, чтобы покорить.

Этот юный кузен, безумец с горячим сердцем, рискнувший на побег, окрашенный в романтические тона, был легко воспламеняющимся материалом, и ей не могло не нравиться, что он воспылал к ней любовью. Даже если сама она осталась вне игры, не возбраняется думать, что, хотя его безобидное ухаживание не затронуло ее сердца, оно все же ласкало ее тщеславие! Ободряющие улыбки, чередующиеся со взрывами обескураживающего смеха, позволяли ей держать этого поклонника на необходимой дистанции.

Это ведь была легонькая забава, меньше чем ничего. К несчастью, мальчик обладал чувствительной душой, и в ней одна над другой воздвигались все более и более властные мечты. Он думал о ней серьезно и сам себя убедил, что наступит день, когда возможным окажется соединить его жизнь с жизнью этой хорошенькой кузины.

Оба они становились старше. И между ними возникала пропасть по мере того, как год за годом девушка выросла и переходила в разряд невест, а мальчик все еще оставался юнцом.

Настал момент первого бала, когда девушка начинает борьбу за свое женское место в жизни, вооруженная тем, чем наделила ее природа.

---

<sup>6</sup> Аллот де ла Фюи.

Каролина очень хороша собой. Все ее кузены и множество других молодых людей ухаживают за ней, и она начинает довольно прозаически оценивать своих поклонников. Жюль не кажется ей подходящей партией. Юноша разочарован, и душевная рана заживет нескоро.

Шаловливая девчонка превратилась в кокетку, стремящуюся покорить как можно больше сердец. Видимо, этот ее поклонник, еще желторотый, выглядел довольно жалко. А претендентов хватало. Каролине оставалось лишь выбирать. Один из них был, кажется, особенно настойчив, и Жюль начал сильно ревновать. Ах, этот Жан Кормье! Он только его и видел повсюду. А между тем бедняга Жан Кормье был отвергнут, как и он сам, ибо Каролина избрала молодого Дезонэ.

В письме к матери от 5 ноября 1853 года, сообщив ей о состоянии своего здоровья и о литературных делах, он пишет:

«Извести меня о мадемуазель Каролине – уж не знаю, как теперь ее фамилия, – отвергшей мое предложение, вышла ли она замуж или только собирается выходить? Ты знаешь, что я живо интересуюсь этой юной особой, не раз тревожившей мои сны, ей у далось в течение нескольких месяцев владеть всеми моими помыслами.

Я хотел бы знать, как она живет и каковы ее сердечные склонности? Несчастливая, она даже не понимает, от какой блестящей партии отказалась, чтобы в один прекрасный день выйти замуж за какого-нибудь слизняка вроде Жана Кормье или кого другого. Ну, что поделаешь – судьба!»

Итак, через пять лет после замужества Каролины он все еще любил ее. Любовь подростка, которая вызывала улыбку, стала чувством взрослого мужчины, глубоким чувством, которое он пронес, быть может, через всю жизнь!

Не исключено, что его родители отнюдь не были огорчены тем, что планы, которые Жюль строил в отношении Каролины, так и не осуществились. Возможно, что они безо всякого сочувствия относились к браку между двоюродным братом и сестрой. И разве подобное же препятствие не представилось непреодолимым впоследствии, когда возник проект брака между одним из Аллот де ла Фюи и одной из дочерей Софи?

После получения диплома бакалавра в 1846 году перед Жюлем открывается будущее. Семья уже выработала легко осуществимый план: старший сын, естественно, станет продолжать дело отца, младший будет морским офицером, что касается сестер, то они выйдут замуж.

Жюль поэтому начинает изучать право в Нанте с помощью учебников и руководств, бывших тогда в ходу. Но учеба не рассеивает горя, которое он переживает зимой 1847 года из-за помолвки Каролины. Свадьба предстоит весной. Может быть, для того чтобы смягчить у дар, отец решает в апреле 1847 года отправить Жюля в Париж, где он поселится у своей двоюродной бабушки Шаррюэль и там будет сдавать экзамены за первый год обучения.

Выдержав эти испытания, Жюль тотчас же уезжает в Провен, где, как надеются родители, ласковый прием у родного очага успокоит его душевную боль. Тщетная надежда, ибо он, по-видимому, не избавился от горькой озлобленности, о чем свидетельствуют слова, написанные им по получении известия о замужестве Каролины: «Итак, это правда! Состоялась все-таки проклятая свадьба!»

Возвратившись в Шантене, он по-прежнему угрюм и молчалив. Без энтузиазма погружается он в книги по юриспруденции, перед тем как вернуться к факультетским занятиям.

В следующем году Жюль приезжает в столицу сразу же после июньских событий. В письме из Парижа от 17 июля 1848 года он дает Пьеру отчет о деньгах, выданных им сыну на дорогу – 75 франков на питание в течение двадцати дней, 40 франков за комнату, 100 франков – дорожные расходы, – и описывает ущерб, нанесенный восстанием.

«Я вижу, – добавляет Жюль, – что вы в провинции буруеваемы страхами и боитесь всего гораздо больше, чем мы в Париже. Пресловутый день 14 июля прошел спокойно, и теперь поджог Парижа назначают на 24-е, что не мешает городу веселиться, как обычно».

В конце другого письма, от 21 июля, он вспоминает о Каролине:

«Ах, бог мой, я и забыл – есть ведь одна вещь, которая занимает меня, несмотря на все парижские заботы. Как обошлось дело с бракосочетанием некоей хорошо известной Вам девицы, которое должно было состояться во вторник? Не скрою, что хотел бы получить об этом точные сведения».

Матери он гораздо откровеннее пишет о своем разочаровании:

«Увы, дорогая мама, не все в жизни идет гладко, и некоторые люди, строившие себе блестящие воздушные замки, не находят их и на своей родной земле! Значит, брак этот все же состоялся!»

Следует рассказ о «зловещем сне», в котором некая свадьба пышно празднуется в гостиных, роскошно иллюминированных свечами по 35 су за фунт, в то время как «человек с протертыми на локтях рукавами точит свои зубы о дверной молоток». В первый раз появляется у Жюль Верна мысль, неоднократно затем повторявшаяся и поразившая Марселя Море:

«Невеста была в белом – символ душевной чистоты, жених в черном – символический намек на сущность души его невесты... Двери в брачный покой открылись перед трепещущими молодоженами, и небесное блаженство затопило их сердца... и всю ночь, всю черную ночь какой-то человек с протертыми на локтях рукавами точил свои зубы о дверной молоток. Ах, мама, дорогая, этот ужасный образ внезапно пробудил меня, и вот твое письмо сообщает мне, что мой сон – реальность! Сколько бедствий я теперь предвижу. Бедный молодой человек! Но я все же скажу: прости ему, господи, он не ведает, что творит. Что же до меня, то я утешусь и при первом же удобном случае все это использую в наиболее выгодном для меня свете!.. Пусть же на бумаге запечатлется память об этой погребальной церемонии...»

Сон этот, даже очищенный от литературного колорита, имеет, возможно, некий психоаналитический смысл, но в любом случае он дает понять, что юный студент сохранил горькое воспоминание о Каролине, и не приходится долго недоумевать, откуда у него эта не раз проявлявшаяся тенденция уподоблять свадебную церемонию погребальной!

Более определенно высказывается он в письме к отцу от 21 июля 1848 года:

«...экзаменаторы забавляются, задавая тебе самые неожиданные и трудные вопросы, а затем заявляют: на лекциях я об этом говорил. На что некоторым, вроде меня, нечего возразить. Всякий раз при приближении экзаменов раскисаешь в том, что не посещал факультетских занятий. То же было в прошлом году Придется основательно поразмыслить над этим и сделать выводы для будущего учебного года».

Легко представить себе, что последовавшие «основательные размышления» привели Пьера к решению дать третьекурснику возможность обосноваться в Париже.

Как свидетельствует госпожа Аллот де ла Фюи, 10 ноября 1848 года Жюль Верн и Эдуард Бонами сели в дилижанс, отправлявшийся в Тур, а там пересели в поезд, который привез их в Париж, где только что закончились празднества по случаю провозглашения Конституции 4 ноября 1848 года.

Оба друга, из которых один, с разбитым сердцем, старался шутками маскировать свое горе, поселились в комнате, снятой в доме № 24 на улице Ансьен Комеди. Г-жа де ла Фюи жалостливо пишет о скудных средствах этих молодых людей, которым приходится довольствоваться сорока су в день на пропитание. «Тогда, наверно, считали, – пишет она, – что молодых людей, отпущенных на волю, следует содержать впроголодь». Она несколько преувеличивает, приписывая подобные намерения буржуазным родителям 1850 года, которые хотели только, чтобы их сыновья знали цену деньгам. Студенты, обладавшие скромными средствами, пользовались у какой-нибудь хозяйки полным пансионом за шестьдесят франков в месяц и тратили по пять су на первый утренний завтрак. Но нельзя отрицать, что им было очень нелегко жить на сто франков в месяц, и не приходится удивляться, что порой они вынуждены были просить дополнительных жертв от отцовского кошелька. Так, Бонами попросил сверх положенного пять

франков на театр, Жюль Верн, у которого к театру была просто неистовая страсть, ограничился тем, что подрядился в клакеры.

Дядя его Шатобур открыл ему доступ в салоны госпожи Жомини, Марианн и Баррер. Это был настоящий подарок для студента-юриста, который намеревался заниматься юриспруденцией лишь для того, чтобы посвятить себя литературе.

Проникнуть в литературный салон – означало иметь возможность общаться с литературным миром, который так манит его. Но тут возникает весьма серьезное препятствие: у обоих друзей одна вечерняя пара на двоих! Что ж! Придется пользоваться ею по очереди.

## 6. Студент

*Посещение литературных салонов.*

*Писательское призвание. Тревога отца.*

Салон госпожи Жомини – политический, и Жюль Верн вскоре перестает его посещать. Что же касается бесед, которые ведутся у госпожи Марианн, они представляются ему мало интересными. Таковы, по крайней мере, его первые впечатления и несколько поспешное суждение, которое он высказывает в письме домой от 24 декабря 1848 года:

«Чем чаще я бываю в литературных салонах, тем больше убеждаюсь, насколько разнообразен круг людей, с которыми там можно познакомиться. Количество их преизбыточно, и, как бы там ни было, люди эти умеют придавать беседе своеобразный глянец, усиливающий ее блеск, вроде позолоты, придающей предметам из бронзы лоск и делающей их приятными для глаза. Впрочем, и такого рода бронза, и такого рода разговоры ничего не стоят, хотя эти лица, принятые в самом высшем свете, по-видимому, на короткой ноге с наиболее выдающимися людьми нашего времени! С ними за руку здороваются Ламартин, Марраст<sup>[11]</sup>, Наполеон, тут у них госпожа графиня, там госпожа княгиня. Разговор идет о колясках, лошадях, егерях, ливреях, политике, литературе, о людях судят с самых современных позиций, отмеченных, однако же, фальшью».

Эта едкая критика заканчивается столь свойственным молодежи неприятием старшего поколения.

«Я сумел всем понравиться, – уверяет он. – Да и как не находить меня очаровательным, когда в разговоре с глазу на глаз я всегда соглашаюсь со своим собеседником? Я понимаю, что не могу осмелиться иметь собственное мнение, не то все от меня отвернутся.

О, мои двадцать лет! Двадцать лет! Ничего, уж когда-нибудь я им всем отплачу!»

Забавно, что под пером студента 1848 года мы находим выражение тех же чувств, которые в нашу эпоху проявляются куш более бурно. Инакомыслящим этот молодой человек был уже при Луи-Филиппе.

Салон госпожи де Баррер ему более по вкусу. Здесь он сводит знакомство со «всей романтической братией». Хотя многие из людей, сделавших литературную карьеру, представляются ему довольно тусклыми, он доволен тем, что к нему весьма любезно отнесся граф де Кораль, редактор «Либерте», обещавший свести его к Виктору Гюго. Здесь же он имел еще одну встречу, оказавшую на всю его жизнь, быть может, решающее влияние, встречу с Шевалье д'Арпантини, увлекающимся хиромантией, к которой страстно привержен Дюма.

Госпожа де Баррер – приятельница Софи и очень дружна с госпожой Дюма, дочерью Александра Дюма-отца. Она была бы рада, если бы находящийся под ее покровительством молодой человек был представлен автору «Трех мушкетеров». Берется за это хиромант. Великий Дюма очень гостеприимен, вскоре он начинает сильно благоволить к юному провинциалу, ему нравится, что тот за словом в карман не лезет, – Жюль уже свой человек у Дюма! Он в восторге.

«Какое наслаждение для меня, столь новое и столь чудесное, – пишет он родителям, – непосредственно соприкоснуться с литературой, предвидеть, как пойдут ее пути, наблюдая все эти колебания от Расина к Шекспиру, от Скриба к Клервиллю. Тут можно сделать глубокие наблюдения над настоящим и призадуматься над будущим. К несчастью, распроклятая политика набрасывает на прекрасную поэзию свой прозаический покров. К черту всех министров, президентов, палату, если во Франции остается хоть один поэт, способный взволновать сердца! История доказывает, что политика относится к области случайного и преходящего. Я же думаю и повторяю вслед за Гёте: «Ничто из того, что делает нас счастливыми, не иллюзорно».

Эта невинная цитата, которую он повторит в «Сегодняшних счастливых», не по вкусу благочестивому Пьеру Верну. На его слух звучит она эпикурейски, а это рискует поставить под вопрос спасение души, которое достигается моральным совершенствованием, обретаемым через умерщвление плоти. Добродетельный юрист пишет сыну строгое письмо: эксцентрические идеи Жюля приведут его к гибели в Париже, в этих артистических кругах с их весьма зыбкой нравственностью.

На эту диатрибу «блудный сын» отвечает 24 января 1849 года запиской в свою защиту.

«Спасибо тебе за добрые советы, – возражает он, – но ведь до последнего времени я и не отступал от этой стези... Я сам, первый, разобрался в том, что хорошо, а что плохо, что принять, а что отвергнуть в артистических кружках, название которых пугает вас больше, чем того заслуживают они сами».

Дальше он продолжает самым спокойным тоном: «В будущий вторник я сдаю экзамен, и уверяю тебя, что голова у меня идет кругом. Думается, можно считать, что я его выдержу – впрочем, ручаться ни за что нельзя, – я много работал, все время работаю, потому-то мне и хочется покончить с этим экзаменом на степень лиценциата<sup>[12]</sup>. Но это вовсе не значит, что затем я буду сидеть, сложа руки и совсем не заниматься правом. Разве я не знаю, что добрая треть моей диссертации касается «Институтов»<sup>[13]</sup>, разве не знаю, что она должна быть представлена к августу и что тогда же я буду принят в адвокатуру!.. Если бы я имел в виду иное поприще, разве я бы зашел так далеко, а теперь вдруг бросил ученье или замедлил его? Разве это не было бы чистым безумием?..»

Если, прочтя эти строки, отец его должен был обрести полное спокойствие, он, не дрогнув, мог прочесть продолжение:

«Тебе же известно, как влечет к себе Париж всех вообще, а особенно молодежь. Ясно, что я предпочел бы поселиться в Париже, а не в Нанте. Между двумя этими существованиями есть лишь одна разница: в Париже я не жалею о Нанте, в Нанте я буду немного жалеть о Париже, что не мешает мне спокойно там жить...»

Стрела пущена, и Жюль спешит пролить бальзам на неизбежную рану:

«Очень жаль, что в провинции у людей столь превратные представления о литературном мире... Я же не устаю повторять, что, насколько мог судить, все там как две капли воды похоже на наше общество в Нанте...»

Ничего там нет более иступленного, оглушающего, принижающего, чем в Нанте. А если женщины красивее, чем нантские, им же этого не поставишь в упрек... Я первый признал, что мое положение в Нанте от личное, и гордился этим! И я должен был быть и всегда буду благодарен тебе за то, что ты мне его создал. И я всегда говорил, что буду адвокатом!»

И тут же, под прикрытием этих льстивых излияний, он пускает вторую стрелу прямо в цель, пользуясь тем, что голова у отца теперь достаточно заморочена:

«Если бы после всех моих литературных упражнений, которые – как ты сам признаешь – в любом положении всегда полезны, я решился бы на более серьезную попытку в этой области, то – я уже неоднократно повторял – лишь в порядке дополнительного занятия, ни в коей мере не отвлекающего от намеченной цели... Тем не менее, ты меня спрашиваешь: «Ты хочешь сказать, что станешь академиком, поэтом, знаменитым романистом?» Если бы мне предстояло достичь чего-либо подобного, ты же сам, дорогой папа, толкнул бы меня на этот путь! И ты первый гордился бы мной, ибо это ведь самое лучшее в мире положение! И если бы мне предстояло такое поприще, то призвание неодолимо влекло бы меня к нему. Но до этого еще далеко!»

Итак, сказано самое существенное: «Призвание неодолимо влекло бы меня». Отец уже не может иметь сомнений насчет того, чего по-настоящему хочет его сын: адвокатура отступает на второй план! Что же до профессии нотариуса...

«Если говорить о семейной жизни... спокойные, сердечные отношения возникают на основе безбурного существования, совершенно несовместимого с литературным поприщем... Что ж, если даже и так, то ведь и политика, которой пренебрегать не приходится и которая начинается именно с адвокатуры... разве она не более враждебна всякому домашнему спокойствию?»

Обтекаемое это послание, наверно, заставило сильно задуматься нантского нотариуса!

## 7. Драматург

*Первые шаги в драматургии: комедии, трагедии, водевили.*

*Общение с Александром Дюма, пьеса «Сломанные соломинки».*

*Знакомство с композитором Иньяром.*

*Жюль Верн становится секретарем Лирического театра.*

Разочарование в сфере личных чувств не отвлекло Жюля Верна от поставленной цели: найти свое место на литературном поприще.

Добившись степени лицензиата права в 1849 году, он задержался в Париже; похоже, отец его не слишком противился этому желая дать сыну возможность попытаться счастья.

Однако молодой студент-«оппозиционер» словно пользовался любым случаем, чтобы вызвать у него возмущение. Удивляет неистовство антимилиитаристских взглядов, которые он пространно высказывает в письме от 12 марта 1849 года:

«Ты всегда печалишься, когда речь заходит о моей жеребьевке и о том, как мало это меня волнует. Но ты же хорошо знаешь, дорогой папа, как я отношусь к военному делу...»

Затем следует целый памфлет, под которым подписался бы сам Гюстав Эрве<sup>[14]</sup> в своей «Войне в обществе». Подобно этому знаменитому журналисту, Жюль, впрочем, проделал известную эволюцию и признал, что, бесспорно, «на земле живут не для того, чтобы рисковать собственной жизнью или отнимать ее у других», но – увы! – бывают случаи, когда приходится на это идти.

Эти обостренные чувства объясняются общим умонастроением эпохи, когда в стране продолжали жить жгучие воспоминания о столь несчастливо закончившихся войнах империи.

Молодой писатель был поначалу убежден в своем призвании к драматургии, и мы увидим, что он еще долго держался такого мнения. Итак, он устремляется по этому пути. В 1847 году им написана была пьеса в 5 действиях, в стихах – «Александр VI». На рукописи действительно стоит дата 8 мая 1847 года. Подпись с росчерком спиралью свидетельствует о юности автора. Отметим, что пьеса написана скорописью мелкими буквами в тетради уменьшенного необычного формата, это поможет нам при датировке последующих произведений.

Такой же почерк и формат в «Пороховом заговоре», трагедии в 5 действиях, в стихах. Сначала казалось естественным отнести ее написание сейчас же вслед за «Александром VI» к 1848 году, что подтверждается письмом к отцу от марта 1851 года, в котором Жюль Верн обсуждает свой бюджет.

«Я всегда получал только 125 франков в месяц, а не 150, дорогой папа, немногие дополнительные суммы шли на оплату предметов роскоши вроде шприца! Итак: комната – 35, питание – самое меньшее 65, итого – 100. Остается 25 – на дрова, освещение, почтовые расходы, на ботинки, которые я только что купил, и починку одежды, и бумагу, и все, и вся... К тому же добавился расход на переписку «Порохового...».

Начало его приходится как раз на 1848 год. Подпись из двух слов с росчерком спиралью, тот же формат бумаги. Можно думать, что одноактный водевиль «Морская прогулка» относится к тому же времени или, может быть, принимая во внимание более твердый почерк, к чуть более позднему.

Если судить по скорописи, то две коротеньких новеллы, «Тетерев» и «Дон Галаор», так же как одноактная комедия «Миг расплаты», относятся к тому же времени.

Около 1849 года молодой автор приступает к пятиактной трагедии «Драма при Людовике XV». Почерк – та же скоропись, легкая, воздушная. Подпись – фамилия с инициалом – тоже начертана легко и просто. Пьеса написана на нескольких тетрадках так называемого «школьного» формата, как и водевиль в двух действиях «Абдаллах».



Вероятно, в том же 1849 году он написал и «Сломанные соломинки» – одноактную комедию в стихах.

21 февраля 1849 года Дюма открыл двери своего Исторического театра в помещении Национальной оперы, закрытом с начала революционных событий 1848 года, и в его ложе юный друг писателя присутствовал на премьере «Юности трех мушкетеров».

«Представить себе невозможно, что выделял старик Дюма на представлении своей пьесы. Он не мог удержаться и все время рассказывал, что будет дальше. В эту ложу заходили известные люди – Жирарден<sup>[15]</sup>, Теофиль Готье, Жюль Жанен<sup>[16]</sup> и другие».

Не будет слишком смелым предположение, что этот друг мог оказаться полезным Дюма в деле руководства театром. Это являлось для него хорошей школой, а Дюма был доволен, имея при себе секретаря-любителя, но, безусловно, преданного и вдобавок симпатичного. Действительно, между ними возникли тесные связи, и учитель заинтересовался учеником. Он читал пьесы, которые тот давал ему на отзыв, и даже взял одну для своего театра, хотя она не принадлежала к историческому жанру: Дюма мог решить, что по характеру своему она несколько облегчит репертуар.

Благодаря расположению Дюма «Сломанные соломинки» были поставлены 12 июня 1850 года на сцене Исторического театра и хорошо приняты публикой. В этой одноактной комедии в духе Мариво выведены жена-кокетка, муж-ревнивец, отказывающий жене в покупке желанного ожерелья. Они держат пари, что тогда было в ходу: с момента уговора (берется соломинка и ломается по оси пополам) тот из участников пари, кто примет от другого какую-нибудь вещь, проигрывает, исполняя его желание. Каждый из них непрерывно подстерегает другого, но безуспешно до того момента, когда в отсутствие мужа является бывший поклонник жены. В опасный момент служанка прячет его в стенной шкаф: подозрительный супруг требует от жены ключ от шкафа, получает его, проигрывает пари и вынужден подарить жене ожерелье.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

## Комментарии

1.

Нантский эдикт, изданный в 1598 г. французским королем Генрихом IV, признавал господствующей религией католицизм и вместе с тем предоставлял свободу вероисповедания протестантам (гугенотам). В 1685 г. отменен Людовиком XIV.

2.

Де Лаосе, Мари Тереза (1920–1976) – внучатая племянница Жюль Верна. Последние годы была вице-президентом французского Жюль-верновского общества.

3.

Маркуччи, Эдмондо (1900–1963) – итальянский педагог, литературовед, прогрессивный общественный деятель, автор статей о Л. Н. Толстом, монографии «Жюль Верн и его сочинения» (1935) и др.

4.

Лемир, Шарль – французский географ, знакомый Жюль Верна по Амьену. Встречался с ним на заседаниях Амьенской академии наук и искусств. После смерти писателя составил его первую биографию: «Жюль Верн. Человек, писатель, путешественник, гражданин» (1908).

5.

Лори, Андре – один из псевдонимов Паскаля Груссе. Слова Лори о Жюле Верне, цитируемые автором, взяты из статьи-некролога в газете «Ле Тан» (1905, 25 марта).

6.

Море, Марсель – французский литературовед, интерпретирующий творчество Жюль Верна с фрейдистских позиций.

7.

Янсенист – последователь янсенизма, религиозного течения XVII–XVIII вв. (по имени основателя – богослова К. Янсения), стремившегося освободить католическое богослужение от чрезмерной пышности и декора, сблизив его до некоторой степени с кальвинизмом, протестантским вероучением, возникшим в период Реформации (XVI в.).

8.

Фома Аквинский (1225–1274) – крупнейший представитель средневековой схоластики, религиозный мыслитель, чья философская система (томизм) официально признана Ватиканом.

9.

Аллот дела Фюи, Маргерит – внучатая племянница Жюль Верна, опубликовала романизованную биографию писателя, содержащую много документальных материалов: «Жюль Верн. Его жизнь, его сочинения» (1928). Книга выдержала несколько изданий.

10.

Франк, Бернар – автор книги «Жюль Верн и его путешествия. По биографическому сочинению г-жи М. Аллот де ла Фюи и документам, полученным от наследников» (1941).

11.

Марраст, Арман (1801–1852) – французский политический деятель, один из лидеров правых республиканцев, руководивших подавлением июньского восстания парижского пролетариата в 1848 г.; член временного правительства, мэр Парижа, президент Национальной ассамблеи.

**12.**

Во Франции ученую степень лиценциата получают выпускники высшей школы, сдавшие соответствующие экзамены и защитившие диссертацию на звание лиценциата.

**13.**

«Институты» – в данном контексте совокупность правовых норм, регулирующих разные виды общественных отношений, например институт брака, торговли, наследования и т. д.

**14.**

Эрве, Гюстав (1871–1944) – французский журналист и адвокат; в 1906–1916 гг. издавал газету полуанархистского толка «Война в обществе». Во время Первой мировой войны проявил себя как националист и был исключен из социалистической партии.

**15.**

Жирарден, Эмиль де (1806–1881) – влиятельный французский публицист, осуществивший идею создания массовой дешевой газеты.

**16.**

Жанен Жюль, (1804–1874) – французский писатель-романтик, критик и журналист.